

Рада Полищук

Одесские рассказы

Котлеты в компоте

По всему городу были развешаны рекламы: «Котлеты в Компоте! Котлеты в Компоте!». Одесские штучки. На Дерибасовской в ресторане «Компот» – акция: в меню пятьдесят видов котлет.

Где вы такое видели – котлеты в компоте?

Вы не видели, я видела.

Ах, боже мой, когда это было!

Тети Малины котлеты в компоте. За каждые полкотлеты – кружка душистого сладкого компота из инжира, алычи, абрикоса, груши, айвы, дыни, с одуряющим запахом корицы. Ради этого компота мы иногда съедали по две котлеты. Мама глазам не верила, а тетя Маля говорила, довольная собой:

– Девочки, Идочка, должны быть пухленькие, мягонькие, круглые, как шанежки, чтоб их скушать хотелось. Вот как я, например. Изюня от меня уж скоро двадцать лет по кусочку откусывает, а я целехонька, еще полвека с голода не помрет.

Смеется, широко открыв рот, обнажив белые зубы, один к одному, как на плакате в кабинете дантиста. Так Изюня дантист и есть, он от нее не только откусывает, но и за зубами ее пристрастно приглядывает как лицо заинтересованное в первую очередь. Ее зубы – предмет его профессиональной гордости. Свои запустил, уже не поправить – до остолбенения боится бормашины и всяких других манипуляций в полости рта.

– Малюня, малышка моя, девочка моя маленькая, со мной не пропадешь, – бахвалится Изюня и головой ей в подмышку тыкается, выше не достает.

А ничего смешного нет. С войны вернулся с двумя боевыми медалями, «За отвагу» и «За боевые заслуги», другие медали получал, как все выжившие, по месту жительства – к круглым датам войны, уже в мирное время, когда на дантиста учился не по своей воле. Отец завещал перед смертью: дед дантистом был, я – дантист, и ты дантистом будешь. Никаких возражений не принял, да не хватило у Изюни сил с умирающим спорить. И не исполнить волю отца не смог, и мать умоляюще посматривала, подгоняла молча – давай, сынок, читал он в ее глазах, давай, люди ждут, кресло отца простаивать не должно, и я без жужжания бормашины долго не протяну, привыкла, от тишины погибаю. Так и решилась его судьба. А видел он себя портным женского платья, такую мечту с детства имел. Представлял, как будет из красивых тканей вырезать платья причудливого фасона и, надев на руку подушечку с булавками, накалывать на манекен наряд за нарядом.

Отчасти мечта сбылась, Малюню свою он обшивает по полной программе – от нижних сорочек до зимнего пальто, отороченного мехом. Дантист он хороший, справный, очереди в его кабинет не переводятся, но душа молчит, будто отлетает на время по своим неотложным надобностям. А стоит лишь портновскую иглу в руки взять, душа возвращается, и ладная такая песня на два голоса складывается у них, не прерывать бы ее никогда. И что примечательно – зубы лечит правой рукой, как все, а шьет и кроит – левой, никто так не учил, само по себе вышло, иначе и быть не могло. Левая рука ближе к сердцу.

Кроме Малюни, он никому не шьет, сколько бы ни просили, какие бы деньги ни предлагали. Она и ходит по Одессе такая обособленная, со своими басками, рюшами и гофрированными крылышками Изюниного кроя – для нее специально, для нее одной. А он сам обычно то сзади, то сбоку идет неприметно, с гордостью осматривая творение рук своих, себя не выпячивает. И так все знают: впереди – Маля, поодаль – Изюня. Единое целое. Такая о них молва ходит. Может, и завидует кто, наверняка даже, как без этого проживешь, но они дурного глаза не чувствуют и сами никому зла не желают.

Они друг в дружке души не чаяли, от самой первой встречи и каждый прожитый вместе день. Не понаслышке знали, что такое любовь.

А первая встреча была – умора что такое, слезами обольешься. Изюня шел по городу от вокзала к Привозу, горько смотреть на него – в чем только жизнь теплилась: худюсенький, солдатские брюки, поддернутые ремнем, болтались на тоненьких ножках, подметая тротуар, как матросские клеши, только без того нарочитого шика, что царил до войны на Приморском бульваре. В правой руке неловко волочил большой, не по росту ему, вещмешок, потертый, перевязанный сверху толстой крученой веревкой. Шел, оглядывался по сторонам, будто потерял кого-то или сам потерялся, и глаза навывкате под черными густыми бровями вот-вот заплачут. А ведь радость какая – с войны живой домой вернулся.

Таким его Маля увидела, неся домой с Привоза кошелку с продуктами, не бог весть что, а все же и рыба появилась, бычки и скумбрия, синеньких не было, а вот картошка, огурчики, лук поспели. Жить можно. И война закончилась, проклятая. Кто не от горя, тот от радости плачет. И Маля плачет со всеми вместе. Мама умерла давно, она еще девчонкой бегала по двору, в дочки-матери играла, а мамы не было. Папа умер перед самой войной, дома, в своей постели от прободения язвы желудка. Аккурат успел – в мае сорок первого она его похоронила, еще все родственники на местах были. По обряду, как положено, похоронили на старом еврейском кладбище, над могилой постояли недолго, помолились, погоревали, поговорили о том о сем и разошлись, обнялись на прощание, руки пожали или просто кивком головы. Не все так гладко в семье было. А у кого все гладко? Бывало, только смерть на кладбище и сводила от случая к случаю, обычай предков соблюдали – для чтения кадиша над покойным миньян нужен – десять взрослых мужчин, смерть не тот случай, когда отлынуть можно, все приходили, подвести нельзя. Кто ж знал в тот раз, что многие больше и не свидятся на этом свете – кто по Старопортофранковской, по «дороге смерти», в вечность ушел, только боль в сердце и имена в памяти остались, кто на полях войны погиб или пропал без вести, таких много было. Из эвакуации только-только возвращаться стали понемногу, постаревшие, уставшие от разлук

и тревоги, с опаской жилье свое не найти, пусть будет плохонькое, молились, какое сохранилось – да свое, с мыслями – как жить дальше после всего, что случилось. Как жить?

А жить надо.

Они буквально столкнулись на мощенной булыжником мостовой, Изюня ткнул головой Мале в спину. Маля вскрикнула от неожиданности, а оглянувшись, увидела черные угольные глаза навывкате с застывшей в них тоской и недоверчивую улыбку в уголках губ. Заныло, загорелось внизу живота и потекло обжигающей волной вверх к горлу. Она коротко вскрикнула и вдруг, сама не понимая, что делает, прижала его к своей груди, вмяла в себя, как в большую пуховую подушку, он доверчиво влип в нее и затих. От жалости к нему ее зазнобило, отлетели куда-то все уличные шумы – громкие голоса прохожих, звон трамваев, гудки клаксонов, крики кондукторов... Тишина накрыла их, надолго ли – не помнят ни он, ни она.

Так началась любовь.

А вскорости и совместная жизнь в Изюниной двухкомнатной квартире на Чичерина угол Пушкинской, где одна комната была по всей науке оборудованным кабинетом дантиста, вторая – спальней, столовой и кухней одновременно. Маля, по странному стечению обстоятельств, жила тоже на Чичерина, на другом конце улицы близко от трамвайного круга, рядом с Ланжероном. Жила на птичьих правах, баба Наташа, старая дворничиха, теперь тоже одинокая, как Маля, выделила ей угол в дворницком домишке в глубине двора. Пожалела, потому что их квартиру из одной комнаты с темным чуланчиком и небольшим палисадником, всегда утопающим в цветах – от весны до глубокой осени, заняли пришлые люди и отдавать никакого намерения не имели. Баба Наташа помнила, как весело жили они здесь всей семьей, как мама пела и водила хороводы с детьми, читала вслух книжки, смеялась звонко, заразительно счастливым смехом и угасла постепенно, как лучина, – мелом выбелило щеки, нос заострился, губы посинели. Скоротечная чахотка. Только глаза, синие, как васильки в поле, до последнего сияли ясным светом. Помнила, как к папе приходили за советом и утешением из окрестных домов и дворов, и даже неевреи называли его уважительно «ребе». И как устроили посреди

двора в виноградной беседке поминки по «ребе», хоть и не положено по еврейским строгим правилам, – тоже помнила.

Ах, что бы Маля делала, если б не баба Наташа, – ума не приложить. Она так рвалась домой в Одессу из казахского поселка Джузалы, где прожила три с половиной года в пустыне Кызылкум! Маля, морская душа, пловчиха, одесситка до мозга костей. «Морячка Маля как-то в мае...» – это про нее пели ребята из соседних дворов. И самая толстая из всех девчонок в школе – жиртрест-промсосиска, плавать она могла часами, как дельфин. Без моря нет ей жизни. В Одессу, в Одессу! На Ланжерон! Скорее – в Одессу!

А ее там никто не ждал, и дома у нее не было. Только могилы на старом еврейском кладбище. Она из первых вернулась в родной опустевший город, и лишь одна родная душа приветила ее – баба Наташа, суровая, неразговорчивая, с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей. Беседы никакие не вели, изредка перекидывались словом-другим, а жили душа в душу, ни о чем заранее не сговаривались, никакие правила общежития не прописывали. В одном баба Наташа была непреклонна – не давала Мале взять в руки метлу, чтобы помочь ей двор мести. «Не лезь, – сказала как отрезала. – Не твоего ума дело. Книжки читай, детей во дворе учи, как мать учила. Или еще что надумаешь. Сама справлюсь, недолго уж». А и правда, недолго оказалось. Как-то вечером помылась в большом эмалированном тазу, волосы тщательно причесала, гребешком пригладила, юбку и кофту в мелкий голубой по синему цветочек надела, зажгла лампадку в углу под иконой, легла на свою узкую кровать, натруженные руки на груди сложила, как-то неестественно выпрямилась, будто в росте прибавила, и подбородок горделиво вскинула, а то все под ноги себе смотрела, все под ноги. Такой и нашла ее рано утром Маля.

Хоронили уже вместе с Изюней. Вдвоем со свечками в церкви стояли, неловкость перед батюшкой с трудом пересиливали, да поодаль трое мужчин со двора, чтобы помочь гроб поднять и вынести. Тихо и легко закончилась долгая трудная жизнь бабы Наташи. Надорвалась, все силы истратила, потому и лицо на белой подушечке выглядело помолодевшим, спокойным, удовлетворенным. И то сказать – заслужила покой баба Наташа, видно, и там, на небесах, ее хорошо встретили, благословили за все земные добродетели.

А Маля к Изюне переехала, хоть и побаивалась недобрых взглядов свекрови. Не одобряла ее Изюнина мама, нет, не одобряла, и скрывать это не собиралась, совсем даже наоборот – всячески подчеркивала свое недовольство невесткой. В своем доме полноправной хозяйкой была и к безоговорочному сыновнему повиновению привыкла. Не в ее возрасте менять привычки, да и характер имела не из уступчивых. Пока свекровь жила, Изюня ужом крутился между ними, худел, несмотря на Малины выдающиеся кулинарные способности, по большей части молчал и с той, и с другой, стараясь никого не выделить и сохранить внешнее равновесие, только темные круги под глазами выдавали наивысшую степень его беспокойства.

А ночью в постели, под одеялом прижимался к Мале, как дитя безгрешное и пылкий любовник в одно время. Наверное, свекровь виновата, что ребеночек у них не получился, о чем мечтали они оба. Маля бы деток котлетами в компоте потчевала и другими деликатесами домашнего производства, а Изюня шил бы платица-костюмчики всем на радость, а кому-то, может, и на зависть, тоже не беда. О большой и дружной семье мечтали – и в этом полностью совпали их интересы.

Только по ночам, когда крылатый бог любви и плодородия Эрос просыпался и звал в свои объятия всех влюбленных, жили они сторожко, к звукам извне невольно прислушивались – то ложечка о чашку за перегородкой звякнет, то Изюню вдруг мать позовет требовательно, неотложно – сию же минуту, как приспичило, без промедления, то храп внезапно оборвется и слышатся шаркающие шаги. А они себе в кухне спальный уголок оборудовали, проходная получилась спальня. По этой причине не отпускали они свою страсть на волю никогда. Маля женщина целомудренная, но от природы страстная, все время неудовлетворенность чувствовала и об одном мечтала – остаться с Изюней наедине, без неусыпного свидетеля за тонкой стенкой-временкой.

Под одеялом ласкали друг друга, задыхаясь от нежности, желания и духоты. Вынырнут ненадолго, воздуха глотнут и обратно – с головой, как дети, вроде так их никто не увидит. Изюня медленно целовал ее от кончиков пальцев на ногах до жестких

локонов на лбу, она едва дышала, всем своим женским существом отзываясь на каждый его поцелуй. Теплые влажные прикосновения будили в ней такую иступленную чувственность, что ей делалось страшно. Одной рукой она зажимала себе рот, чтобы не закричать во все горло, разбудив не только свекровь, но и всех соседей во дворе, а другой – отталкивала Изюню от себя да от греха подальше. И так каждый раз. Днем свекровь всегда была дома, и оставить ее одну нельзя было ни при каких обстоятельствах даже на короткое время, на день-другой.

Когда свекровь умерла, оба были уже не в детородном возрасте, и мечта о ребенке отлетела светлым облачком, может, кому другому удачей обернется. А любовь крепла, не могли они жить друг без друга. Ни дышать, ни есть, ни спать. Маля была и домохозяйкой, и помощницей, пациентов записывала, талончики выдавала, инструменты кипятила, потому, даже когда Изюня вел прием в своем кабинете, она каждое мгновение чувствовала его присутствие и мысленно помогала, безошибочно угадывая, когда трудный зуб, когда удаление, когда операция на надкостнице.

Так шло время, день за днем в неостановимом своем течении.

А потом Маля заболела. Болезнь подкралась исподтишка, Изюня не сразу ее распознал. Маля рассеянная сделалась, то потеряет что-то, то перепутает, идеальный порядок в доме постепенно превращался в бедлам. Он не запретил ей готовить инструменты к приему, чтобы не обидеть, только после сам кипятил снова и все укладывал в нужном порядке. Больных тоже стал записывать под предлогом усиленного контроля со стороны налоговых органов, у него ведь ни по каким бумагам помощница не числилась. Да в конце концов, и так жить можно, он подстраивался под эти перемены, не зная, что ждет их впереди.

Беда летела на них снежным комом. То Маля цветы горячей водой из чайника полила, то вместо сахарной пудры солью посыпала коржи своего фирменного торта, то газ включила, а выключить забыла, пока он в булочную ходил, чуть не отравилась, то соседей перестала узнавать, а то вдруг пропала, он чуть с ума не сошел, пока с милицией отыскал ее на Ланжероне поздним вечером одну в лифчике и трусах в холодное время поздней осени.

Она как будто ничего не понимала, только смотрела на него, словно спросить о чем-то хотела, да не решалась.

А как-то ночью, когда лежали, как всегда, тесно обнявшись, вдруг прошептала в самое ухо: «Изюня, со мной что-то происходит?». Он растерялся, спрятал лицо у нее на груди, прильнул губами к нежной коже: «Спи, Малыня, малышка моя, девочка моя маленькая, я всегда с тобой».

Больше она ни о чем не спрашивала, а вскоре перестала его узнавать.

Он закрыл свой кабинет и не отходил от нее ни на шаг, все время разговаривал с ней, научился варить и печь по ее рецептам, все в точности делал, как она.

Везде и всюду водил ее за руку. Шел впереди, а сзади плелась дородная пышная Маля, мелкими шажками, как девочка маленькая. Одна такая пара в городе – ни с кем не спутаешь. Со-страдательно оглядывались им вслед те, кто помнил другую дис-позицию: впереди царственно шагала Маля, поодаль, чуть сбоку – Изюня. Единое целое. Теперь тоже так говорят, и кое-кто по-прежнему завидует им.

Он даже на море ее повез, на Ланжерон, чтобы она искупалась. Искупалась! – это для таких, как он, кто и на резиновом круге плавать не может. Он договорился со спасателем, что тот поплывет на своей шлюпке рядом с ней, чтобы, боже упаси, чего не случилось. И Маля поплыла... Он стоял по пояс в воде и глаз с нее не сводил – вот она нырнула, вот вынырнула, вот снова нырнула... На берегу глаза ее светились счастьем.

Вечером, уже лежа в постели, посмотрела на него долго, внимательно и сказала: «Я тебя не знаю, но ты меня не бросай, пожалуйста», – и доверчиво, как ребенок, вложила свою ладонь в его руку. Он долго сидел так, потом прилег рядом, не выпуская ее руку, и уснул.

А утром, когда проснулся, Мали уже не было.

Смерть, конечно, не безвременная по житейским меркам. Мале семьдесят шесть было. Но Изюня старше на семь лет. Он должен был умереть первым. Он упрямо повторял это каждому встречному, будто что-то можно было изменить.

А изменить уже ничего нельзя.

Несбывшийся гений бабушкиной мечты

Кладбище и знойное нещадное солнце. Палит безжалостно, и спрятаться негде – ни деревца, ни кустика, чтобы прилечь, укрыться, передохнуть. Ни березки, ни лопухов, ни крапивы, ни одной незабудки или ромашки, только песок медленно-медленно волнами пересыпается, и в воздухе взвесь колыхнется, колется, глаза запорошила. В сумке альбуцид должен быть, точно знаю, я его всегда с собой ношу, от городского смога глаза воспаляются до слез в любую погоду. Только где моя сумка? Зеленая с коричневыми ремешками, в Венеции купила на последние почти деньги, не задумываясь, увидела в витрине и не смогла пройти мимо, все в нее переложила, что с собой ношу, вылетела из магазина и чуть не упала в канал: там на углу ограждения не было. Уже вечерело, все как в тумане – в мглистой дымке, нереальный пейзаж. Я уже падала, на миг показалось – взлетаю, как вдруг чьи-то сильные руки схватили за плечи, притянули к себе, почти вплотную, внезапная близость, остро пронзило давно позабытое. И не повернуться, так стиснуты плечи, а голова затылком плотно прижата к твердой мускулистой груди. Кто-то вдруг захлопал, выкрикнули «браво!», повернулась на одной ноге, оглянулась, чуть снова не упала. Кто-то взял за руку и отвел от края. Но это не та рука, нет, не та... А никого больше нет, несколько человек полукругом стоят поодаль и на меня смотрят с интересом, будто я фокусы показываю, уличный артист, у них это принято. Могли бы и деньги к ногам положить, сумка моя, должно быть, отпугнула – из дорогого магазина, и в сумерках разглядели.

С тех пор с венецианской сумкой не расстаюсь.

А сейчас по песку руками шарю, обжигаяще теплый, шелковистый, нежный, сквозь пальцы протекает, щекотно, смеюсь невольно – ни сумки, ни альбуцида, чужое кладбище с невысокими могильными камнями, ровными рядами вправо, влево, как воины на плацу, замершие воины. Желто-голубое безмолвие. Родное до боли. И фотография, от которой не могу оторвать взгляд. Здесь ее нет, здесь вообще нет фотографий на надгробных плитах, только причудливые буквы, я их не знаю, и через тире – даты, они ни о чем не говорят мне. А я отчетливо вижу и узнаю. Этот мальчик похож на...

Не на папу, не на деда-прадеда моего, они все светлоглазые и рыжеволосые, а у этого глаза темные, как угольки, и волосы темные, непослушно вихрастые. Да не в этом дело! Он похож на еврейского юношу, прошагавшего 5780 лет сквозь бури, погромы, победы и беды. Он выстоял.

Я помню его в послевоенной Одессе. Я вспомнила! Он играл на скрипке, учился в школе Столярского, его все хвалили и прочили ему светлое будущее. А дома были мама, рехнувшаяся после гибели на фронте любимого мужа, и парализованная на правую сторону бабушка, первой прочитавшая похоронку. Бабушка всегда была главной силой в семье, полководцем, это признавали все. Она до последнего дня не сдавалась, взяла на себя заботу о невестке и чем могла помогала внуку. Главный совет: «Не бросай скрипку, мальчик мой! Никому в нашем роду не довелось учиться музыке, никому!» – она повторила на последнем уже вздохе и попросила тихо и глухо, будто издали донеслось: «Пообещай мне!». Он не успел, бабушка перестала дышать. И хорошо, что не успел, обманул бы бабушку. Музыкальную школу пришлось бросить, поступил в ПТУ на чертежника: пусть не смычок, но карандаш в руках, на обрезках ватмана или миллиметровки рисовал музыкальные картинки из нотных знаков, заглушая тоску по музыке. Жизнь катилась по ухабам вперед, ничто не предвещало того, что случится.

Почти полвека отлетело, начало девяностых. Евреи снова сидят на чемоданах, новая волна отхлынула – едут на историческую родину, кто от чего, кто за чем, кто за детьми, кто ради детей, кто просто в общую воронку попал, не осознает, что делает. Поехали-поехали! И сын-скрипач уехал. Тяжким было короткое прощание, отец не одобрял отъезд, замкнулся каждый в себе, слов примирения не нашли, отводили глаза в сторону, чтобы не выдать боль свою, чтобы не утонуть в горести прощания.

Навсегда, думал отец. Не увижу сына, думал, не узнаю внуков своих, они родятся на Святой земле, так надо, так правильно. Только без меня, я маму не оставляю, пусть не узнаёт меня, но ждет и радуется, когда прихожу, с этой радостью и уйдет в мир иной, я не обижу ее. Мамина рука у него на плече, он крепко держит ее за талию, она легка и изящна, как в молодости... Ах, как она

любит танцевать! Ах! Не довелось, не пришлось. Не дотанцевала, не допела! Теперь они тихонечко поют вдвоем на идише любимые мамины песни, бабушка научила, он тоже все слова помнит, для них старался. Поют на два голоса, хорошо получается. «Наш уголок я убрала цветами...» – это мама одна пела, когда не стало папы, и сейчас поет при каждой их встрече, чистым высоким нежным голосом, глаза прикрыты, лицо молодое и мокрое от слез. Нет, он не оставит ее! И петь будет для них на могиле, пока жив. А потом наступит тишина...

Навсегда, думал сын. Отец не оставит бабушку в сумасшедшем доме, хоть она никого не узнаёт, путает, улыбается и поет... Танцует и поет... Но как поет! Нет, отец не оставит ее, нет.

Скрипку принес ему приятель сына. В футляре лежала записка: «Пусть живет у тебя, могут не выпустить, отнять. Я решу *там* этот вопрос. А тебе пригодится. Прощай, папа».

Как в воду смотрел.

Погиб в самом начале пути. Первый скрипач в семье – погиб, ничего не успел решить, а скрипка осталась в Одессе у него, несбывшегося гения бабушкиной мечты. Теперь он играет на скрипке сына на могилах погибших воинов в глубине старого еврейского кладбища и, если кто попросит, никому не отказывает.

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая!» – это про всех воинов, павших в боях. Отец погиб на Второй мировой, защищая родину, сын тоже за родину – в Израиле. Может, встретились где-то на тропинках иных миров, может, нет.

Так внешние обстоятельства ломают жизни, ни с чем не считаясь – ни с любовью, ни с верой, ни с исторической справедливостью.

Москва

